

Сергей Зимовец

Хайдеггер и медведи

«Язык не просто передает в словах и предложениях всё очевидное и всё спрятанное как разумеющееся так-то и так-то, но впервые приводит в просторы разверстого сущее как такое-то сущее. Где не бытийствует язык — в бытии камня, растения и животного, — там нет и открытости сущего, а потому нет и открытости не-сущего, пустоты»¹.

Откуда, из каких мест приводит язык то или иное бытийствующее в просторы открытости? Ответ самого Хайдеггера известен: сущее замкнуто в Земле и распахивается, выводится языком в Мир. Если придерживаться этого ответа, то неизбежен новый вопрос: из какой перспективы Хайдеггер мыслит язык? А точнее — какова ретроактивная антиципация хайдеггеровского мыслительного топоса?

В этом отношении особое значение имеет хайдеггеровская оппозиция сокрытости/несокрытости в качестве сущности бытия; правда, эта оппозиция возможна, если ей предшествует язык. Вместе с тем язык не является простым медиатором между существом и бытием, не является он и простым оператором высветления, выведения в свет. Не оказывается ли тем самым просветляюще-скрывающее сказывание базисным допущением самого бытия как такового, а не только сопринаадлежным последнему?

В письме к другу дома² Мартин Хайдеггер, описывая свое пребывание в Шварцвальде, рассказывает, что как-то ночью в особо ветреную погоду ему приснились медведи. Далее он замечает, что местные крестьяне рассказывали о случаях встречи с медведями на альпийских лугах в глубинах лесного массива елей и горных склонов. И даже кажется, что поблизости (*in die Nahe*)

от его шале была замечена медведица с медвежонком. В книге *Holzwege* мы еще раз встречаем хайдеггеровское обращение к медведям. Медведь нападает, неожиданно «вздымаясь от/из земли... с разворота» (*aus der Erde zum Ragen... mit Kehrt*).

И наконец, Ж.-П. Сартр, прозрачно намекая на Хайдеггера, говорит о немецком философе, ставшем затворником в одном медвежьем углу (*dans un coin d'ours*)³.

Несомненно, что эти высказывания Хайдеггера и о Хайдеггерре принадлежат различным семиотическим полям, они развернуты в различных универсумах. Можно было бы, следуя Хайдеггеру, разнести их по эквивалентам онтического и онтологического. Первое – онтическое – связано с формальностью, экстериорностью и негативностью, то есть с исчислением мысли. Второе – онтологическое – с позитивностью, сущностью, то есть с временем мысли. Природное бытие перемежается и исчислено присутствием гуманного – конечного – поля медвежьей охоты, а онтологическое имеет характер скрытой близости. Можно, напротив, прочитать одно высказывание посредством другого.

Но для начала мы обязаны продумать высказывание Хайдеггера, имея в виду то положение вещей, о котором *не думает* он сам. То есть мы должны прояснить, как во фразе Хайдеггера случилось несказанное, поскольку оно случилось как инартикулированная фраза. Если под артикуляцией фразы, вслед за Лиотаром, понимать не только организацию языка в морфемах и фонемах или же корректно структурированное высказывание, но прежде всего поляризацию универсума по осям референции и адресации.

Символическая плотность сновидения, в которой природные ритмы противостоят алгоритму, машинизму, коррелирует с экзистенциальной плотностью. Это то, о чём Хайдеггер нам говорит. Мы принадлежим двум мирам – сокрытому и несокрытому. И в этом плане устройство хайдеггеровского высказывания создает резонанс с общим планом его философской концепции.

Но медведи нарушили сон мира: они причастны сокрытому в бытии, а явлены там, где есть просвет. Мы можем оставить их в бессознательном. Но дело не в том, что медведи – побудительный символ сексуальности – принадлежат его полю. Они могут означивать собой смысл симптома, если рассматривать их не как событие, а как презентацию. Как событие медведи должны остаться презентацией без презентации. Между тем мы имеем возможность задать вопрос о медведях. А значит, стереть их в качестве события. Такова сущность языка – выводя вещь в

Мир, он стирает Землю до немоты. Хайдеггеровская семиология бытия изначально геологическая, т. е. устроена так, что каждый геологический слой, презентируя себя, скрывает другой. Более того, как только мы в порыве рассудочной деятельности принимаем его в качестве репрезентации, предшествующий слой становится тождественным немоте письма.

(Но иногда медведи означивают «места, которые кое-где, возможно, подлинны».

Я имею в виду *ursus soveticus*, сокрушительной критике которого посвятил Хайдеггер свои «Записки из мастерской», когда Никита Хрущев – русский медведь – хвастливо провозгласил некое историческое свершение. Но это медведь уже совсем иного порядка, поскольку утверждает господство всемирного, межзвездного постава.)

Итак, немоту письма порождает голос бытия, медведи работают без саморепрезентации, то есть без участия в служении *сказываемому смыслу*. Медведи иногда случаются *in die Nahe* в качестве оппозиции ко всем оппозициям, они – *иное* любого постава, они бытуют не только вне оппозиции субъекта и объекта, но и вне их мистико-романтического единства, то есть вне области репрезентации, представления и рассудка. Они знаменуют полноту бытия, но знание об этой полноте скрыто от исчисления мысли, от рассудка до тех пор, пока бытие для него остается трансцендентным, пока оно дано как *другое* существования.

Фраза Хайдеггера о шварцвальдских медведях может быть развернута по оси адресации, но ось референции в ней составляет особую проблему. Действительно, что он имел в виду в своем сообщении? Может быть, ось референции декодирована Сартром: Хайдеггер, затворник-философ, находящийся на линии ускользания и дестратификации. Может быть, Сартр имел в виду нечто совершенно иное. Но логика соответствия его пассажа такова, что Хайдеггер расположил между собою и пространством онтического шварцвальдских медведей. Тем самым – с этого времени мысли – нам предлагается видеть в хайдеггеровском письме как таковом не генеративную семиотику толкования, а неинтерпретативные трансформации, нечто символически интенсивное, относящееся к иллокутивному акту, к тому, что принадлежит еще и неозначаемому смыслу. Теперь, с началом этого места мысли, нам как бы надлежит воспринимать акты речи Хайдеггера в качестве специфического «перехода к действию». Отныне язык и мышление приобретают диаграмма-

тический характер, становятся не просто неметафизическими, но а-субъективными и детерриториализованными, то есть бесконечными. Этот онтологический статус осветляюще-осмысляющего и одновременно скрывающего хайдеггеровского мышления и заявлен в обращении к медведям.

Итак, высказывание о медведях – это событие, которое имеет место. Но раз оно случилось, значит, его мир получает презентацию раньше, чем можно спросить о презентируемом. Событие случается *теперь*, но восприятие его в качестве референта другого высказывания стирает его как событие. Если это так, то фраза в качестве события *не является дискурсивной по необходимости*. И молчание о медведях можно анализировать как фразу, как случающуюся ретроактивную презентацию, или как неартикулированную фразу. Фразу, в которой отсутствуют инстанции «кому, от кого и о чём». Неартикулированная фраза – это фраза-аффект, не презентирующая случившийся универсум. И тем самым из него исключается ось адресации и референт. Остается только полюс смысла, «что», то есть чистая презентация без презентируемого. В отличие от *Vorstellung* (репрезентации) – это *Darstellung*. Таким образом, в смысле обращения к медведям содержится не что иное, как аффект Хайдеггера. Он-то и присутствует без репрезентации, то есть он есть чистое присутствие без репрезентации, *Darstellung* без *Vorstellung*. Невысказываемое, сокрытое присутствует вопреки языку, или точнее – при языке, но иным путём. Невысказываемое, сокрытое гетерогенно порядку языка, оно его населяет будучи вне его высу светляющей силы. Хайдеггер, понимая всю креативную мощь языка, тем не менее не подвержен «лингвостерии» структурального образца. Неартикулируемое в языке принадлежит самому смыслу. Хайдеггер – как бы сказывающий мыслитель и одновременно ребенок, инфант, то есть этиологически – бессловесный, « тот, кто не говорит » (*infans*). Его медведица с медвежонком – это инфантильный аффект афатического мышления, они – ситуациянная апперцепция, детское событие, переживаемое сейчас. Это переживание – регрессия к инфантильному опыту, дань которому он затем отдает в своих «Проселке», «О тайне башни со звоном» и в многочисленных обращениях к истоку, детству человечества – Древней Греции. В работе «О Сикстинской мадонне» Хайдеггер не без основания говорит: «... слова мои остаются лепетом... ». Идентификационный смысл этой фразы напрямую связан с ребенком на руках мадонны. Но детский лепет – не только раскрывающее сокрытие, это и внезапное свечение образа: приносимый в мир, высветленный ребенок сам приносит свет.

Вот куда уходит «этимология» молчания, сокрытости и по-таёйности — в лепет, гуление, *«Aha-Erlebnis»* ребёнка, в аффект внезапного озарения при первых речевых попытках сотворения мира. Медведи присутствуют при Хайдеггерне, в молчании сопровождают его мышление, скрыто населяют его язык, так же, как первые, смутные, самые близкие и в то же время самые далекие, но проходящие через всю жизнь, просветленные образы детства, составляющие глубинную неартикулированную часть во взрослом.

Именно из этой «инфантальной перспективы» Хайдеггер мыслит язык.

¹ Хайдеггер М. Истина и искусство // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 103.

² См.: Hugo Ott. Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt a.M., 1988. S. 272 (комментарии).

³ См.: Catalano J.S. A commentary on J.-P.Sartre's «Being and nothingness». Chi., 1980. P. 269 (примечание).